



В. ХОДАСЕВИЧ

Еще о писательской свободе

Уже месяца два с половиной выходит в Варшаве еженедельник «Меч». Когда-нибудь мы поговорим о нем вообще. Сейчас я намерен коснуться лишь одной темы, которая довольно упорно и не без азарта трактуется на его страницах. Дело идет о литературной критике в эмиграции, — точнее говоря, о свободе критики и об ее отношении к молодой нашей словесности. Так как при этом то прямо, то прикровенно заходит речь о вашем покорном слуге, то я принужден просить прощения у читателей: моя статья будет иметь вид такой, будто она писана *pro domo mea* *. В действительности я постараюсь, однако, подойти к делу с принципиальной стороны, а не с личной.

Вопрос о свободе критики (в тех пределах, как ставится он «Мечом») имеет свою историю. Мне придется ее коснуться, потому что нынешний разговор есть лишь продолжение давнишнего, начавшегося еще в 1931 году. В тот год, на страницах варшавской газеты «За Свободу» (по совету редакции и сотрудников родственной нынешнему «Мечу»), З. Н. Гиппиус выступила с обвинениями против парижской прессы, якобы подвергающей ее, З. Н. Гиппиус, критические высказывания беспощадной цензуре. Сперва З. Н. Гиппиус обвиняла в цензурном самоуправстве «Возрождение», «Последние Новости» и «Современные Записки», которым противопоставляла редакцию «Чисел», якобы единственное прибежище культуры и вольности. Не прошло, однако же, и двух, кажется, недель, как З. Н. Гиппиус разжаловала и «Числа», которые в свою очередь отказались напечатать какую-то ее полемическую статью. Выступление З. Н. Гиппиус показалось мне слишком субъективным по природе, демагогическим по тактике, а главное — принципиально ошибочным.

* Для себя (*лат.*).

Я тогда же (10 сентября 1931 года) возражал ей на страницах «Возрождения» в статье «О писательской свободе», указав, что должно различать два понятия: цензура и редакция. Первое есть действительное нарушение писательской свободы, производимое извне и ставящее писателя в такое положение, когда он лишается возможности высказать свои мысли где бы то ни было. Второе — законное право всякой редакции печатать только тех авторов и тот материал, которые соответствуют ее политической, литературной или иной программе, а если оказывается при этом, что тот или иной писатель не находит себе места в существующих изданиях, то его право сетовать на судьбу, на то, что современники его не оценили, на редакторское непонимание, но отнюдь не обвинять никого в покушениях на писательскую свободу и в затыкании ртов. Тогда же я писал между прочим: «Не только всякая партия, но и просто шайка свободна в выборе своих членов и может подчинить их известной внутренней дисциплине».

К этой моей полемике с З. Н. Гиппиус и к только что приведенной фразе о шайке ныне и возвращается А. Л. Бем в седьмом номере «Меча». «Этот образ шайки, возникший по ассоциации с редакцией, мне показался любопытным», — говорит А. Л. Бем и высказывает предположение, что мною в данном случае руководило нечто «бессознательное». Высказывая такое предположение, А. Л. Бем, однако же, опасается, что я на него за это «обрушусь». Опасение совершенно напрасное. «Обрушиться» на А. Л. Бема нет у меня ни малейших оснований, потому что он весьма правильно прозрел ход моих мыслей, только не совсем точно его характеризовал. В моей фразе о «шайке» не было ничего подсознательного, а была простая недоговоренность. Я просто имел в виду, что мы живем в мире несовершенном, где порой люди объединяются не в силу идейной общности, а в силу совпадения интересов, корыстей. Объединение идейное есть партия, объединение корыстное — шайка. У партий имеются программы, у шаяк — одни лишь тактики, состоящие в круговой поруке с целью взаимной рекламы и тому подобного. Редакция, составившаяся без идейной базы, силою вещей превращается в шайку, если уже с самого начала не есть таковая. И — прямо скажу — такие редакции существуют. Я их и имел в виду. Но, как прежде, так и теперь, я не могу и за шайками отрицать их право на недопущение посторонних или нежелательных элементов, на их, так сказать, суверенитет. И если шайка не хочет печатать статей З. Н. Гиппиус, может сим обстоятельством огорчаться, но не может жаловаться на нарушение ее свободы. Мне даже ка-

жется, что именно З. Н. Гиппиус покушается на свободу литературных объединений, отстаивая нечто вроде своего права на вторжение в редакции, или в шайки, почему-либо не склонные печатать ее статьи... Но вернемся к статье А. Л. Бема.

Его первая попытка чтения моих мыслей оказалась удачна. К сожалению, не могу сказать то же о второй. Дело в том, что не так давно в «Возрождении» был напечатан мой фельетон об «Избранных стихах Брюсова» в советском издании. Вспоминая по этому поводу свои воспоминания о Брюсове, напечатанные почти десять лет тому назад, я писал, что наши суждения и оценки относительно, что на них влияют обстоятельства, при которых они складываются, и что даже самый их смысл меняется в зависимости от условий, в которых они произносятся. Я писал, что не могу теперь говорить о Брюсове так сурово, как говорил в 1924 году, — не потому, что изменилось мое отношение к Брюсову, но потому, что моя аудитория оказалась не той, какою я предполагал ее. Я думал, что осуждаю Брюсова перед лицом людей, служащих литературе до последней степени бескорыстно, а теперь вижу, что, если Брюсов и не был вполне бескорыстен, то из нынешнего моего окружения «его превзошли те, кто способны обхаживать любого глупца и невежу — ради хвалебной статейки, пресмыкаться пред кем попало — ради поддержания добрых отношений, мириться с самыми наглыми литературными дельцами — чтобы не заклевали...».

Вот в этих моих размышлениях А. Л. Бем увидел, как он выражается, *самопризнание*. Какое же? В чем? Я искренно признателен А. Л. Бему за то, что он, желая, видимо, отнестись ко мне мягко и снисходительно, не совсем ясно формулирует, в чем состоит мое «самопризнание». Он ограничивается намеком, который я позволю себе раскрыть, потому что мне-то ведь нет надобности с собой церемониться. Сколько я понимаю, А. Л. Бем хочет сказать приблизительно следующее: теперь Ходасевич признает, что писатели находятся в рабстве у редакторов и под их давлением принуждены писать не то, что думают; Ходасевич даже кается в том, что и сам в критических своих суждениях ныне уже руководствуется «принципом относительности», то есть постепенно привыкает действовать в духе современных литературных нравов...

Прямо заявляю: ничего подобного я в своей статье не сказал и не хотел сказать. Ежели я «каялся», то лишь по частному поводу: в том, что осуждал Брюсова перед лицом людей, которые не лучше, а часто и хуже его. Между этими моими показаниями по поводу Брюсова и моей статьей «О писательской свободе»

А. Л. Бем совершенно ошибочно усматривает какую бы то ни было связь. Как прежде, так и теперь, я считаю, что всякая редакция вправе распоряжаться поступающим материалом, и это распоряжение само по себе никакой писательской свободы не нарушает. Если же некоторые редакторы при этом руководствуются посторонними, не идейными, а житейскими соображениями — то это не что иное, как злоупотребление их правом, которое все же само по себе неотъемлемо. Такие злоупотребления существовали, вероятно, всегда и везде, но писатели умели и хотели противопоставить им свою волю к высказываниям прямым и бескорыстным. Не вина редакторов, если воля такая в писателях ослабевает и если «дружбою и родством и ожиданием выгод» сами писатели руководствуются чаще, нежели и редакторы. О себе самом смею сказать, что совесть моя чиста: ни по собственному желанию и ни по чьему приказу мнений своих не изменяю. Поэтому в моих словах о том, на что посмотрелся я со времени написания воспоминаний о Брюсове, никакого *самопризнания* нет. Эти слова писал я, глядя не в зеркало, а глядя вокруг себя. Некогда критика уверяла Сологуба, что в лице Передонова изобразил он себя самого. Он ответил: «Нет, мои милые современники, это я не о себе, это я о вас». Мне очень хочется повторить слова Сологуба. Поэтому напрасно А. Л. Бем сопоставляет мои слова со словами той же З. Н. Гиппиус, недавно ею напечатанными: «В первые годы эмиграции... русские еще писали, по навыку в России, о чем и как хотели. С тех пор много воды утекло. Физическая невозможность так писать лишила нас и внутренней к тому способности: она атрофирована. Писать о чем хотим и как хотим мы уже больше не умеем».

Не знаю, на основании чьего опыта делает такие признания З. Н. Гиппиус. Позволю себе, однако, от таких признаний решительно отмежеваться. Во всяком случае, заявляю, что отнюдь не вижу себя в числе тех «мы», от имени которых говорит З. Н. Гиппиус. Способность писать правду во мне, слава Богу, еще не атрофирована. Я пишу только то, что согласно с моею совестью, и не родился еще тот редактор, который сумеет меня заставить писать иначе. Звание русского писателя меня кое к чему обязывает и всегда будет обязывать. В тот день, когда я почувствую «физическую», как выражается З. Н. Гиппиус, невозможность писать добросовестно, я долгом своим почту умолкнуть. К счастью, я еще, разумеется, не одинок. Есть люди, смотрящие на дело так же, как я, и «мы» З. Н. Гиппиус я мог бы противопоставить свое, другое. Думаю, что дело здесь не только в литературной морали и даже не прежде всего в ней. Дело в том, что критики

разделяются на имеющих некий теоретический и историко-литературный багаж и на не имеющих такового. Этот багаж, если он имеется, автоматически заставляет критика быть беспристрастным и независимым. При отсутствии его критик скользит сегодня в каприз, завтра в лукавство, послезавтра в кумовство и интриганство; а там, глядишь, становится чьим попало прислужником и, наконец, вовсе теряет способность руководствоваться своею совестью.

В другой статье «Меча» мое имя прямо не названо, но я не боюсь узнать себя под прозрачными намеками. В основе ее лежат все те же демагогические и потому вредные жалобы З. Н. Гиппиус на отсутствие свободы. Эта статья, многословная и расплывчатая, принадлежит перу В. Злобина, давнего соратника и единомышленника З. Н. Гиппиус. Что, собственно, хочет сказать В. Злобин, — уловить довольно трудно, ибо он старается говорить какими-то обиняками. Но нечто конкретное из этих обиняков все же можно извлечь. Сводится оно к тому, что в Париже имеются две газеты, которые политически ни в чем не сходятся. Но в этих газетах имеются два критика, которые часто сходятся в своих оценках. Раскроем скобки: критики эти — Г. В. Адамович в «Последних Новостях» и я — в «Возрождении». Совпадения в наших оценках весьма огорчают В. Злобина, ибо он видит в них проявление некоего неуловимого, но злого духа — духа безразличия. От этого духа, конечно, избавилась бы наша словесность, если бы предоставили свободу высказывания некоторым крупным критикам, ныне этой свободы лишенным. Под некоторыми крупными, разумеется, надо опять понимать З. Н. Гиппиус.

Признаться сказать, эти жалобы на то, что З. Н. Гиппиус лишена свободы высказывания, не только наскучили. Они еще и попросту неверны. З. Н. Гиппиус начала печатно жаловаться в 1931 году. С тех пор свои критические статьи помещала она в «Числах», в «Последних Новостях», во «Встречах», в «Мече». Итого — в четырех изданиях. А я — в «Возрождении» и в «Современных Записках» — итого в двух. Спрашивается: почему же она жалуется, а не я? Почему я или Адамович должны себя чувствовать какими-то извергами, из-за которых этот новый Фома Фомич пострадал? Допустим, однако, что мы с Адамовичем испугаемся, и либо он уприсит «Последние Новости», чтобы они заменили его г-жею Гиппиус, либо я о том же упрошу редакцию «Возрождения». Прекратятся ли жалобы? Уверен, что нет, ибо, если З. Н. Гиппиус тесно в четырех органах, то ей будет тесно и в пяти. В конце концов, так выходит, что З. Н. Гиппиус

только тогда ощутит желанную свободу, когда она будет писать везде, и критика станет ее монополией. Но вот именно это утопическое состояние и будет, наконец, настоящим концом свободы. По-видимому, З. Н. Гиппиус и ее окружение понимает свободу так, как ее понимают все деспоты: свобода есть свобода для меня и больше ни для кого.

В. Злобин, конечно, может мне возразить, что З. Н. Гиппиус ограничена не числом изданий, а теми условиями, в которые она поставлена редакциями, допускающими ее сотрудничество. Но тут возникает новый вопрос: ну, а если бы редакции предоставили З. Н. Гиппиус полную свободу, то зачем она ей нужна? Мы вот все слышим, что чего-то З. Н. Гиппиус не дают высказать. Для чего ж именно? Что за тайна такая? Почему в том же «Мече», который печатает жалобы Злобина, З. Н. Гиппиус не высказывается, наконец, по существу тех идей, которые ей не дают высказать в других местах? Вчитываюсь в статью Злобина и нахожу лишь один ответ: вся «идея» сводится к уничтожению мертвенного духа согласия, кстати сказать, лишь кажущегося. Мы с Адамовичем во многом не сходимся, но редко полемизируем, потому что не в том полагаем свою задачу и просто потому, что пишем о многих литературных явлениях и не можем вступить в спор всякий раз, как наши взгляды расходятся. По Злобину же выходит, что З. Н. Гиппиус нужна «свобода» не ради истины, а ради уничтожения согласия: чтобы можно было изо дня в день и по всякому поводу разводить полемику: либо в «Возрождении» — с Адамовичем, либо в «Последних Новостях» — со мной: если я, например, скажу: стрижено, — сейчас же ответить: брито; если я скажу: брито, — скорей кричать: стрижено! Все для того только, чтобы, по Островскому:

Намутить, наплесть,
Сына с снохой развесть.

Во имя чего это все — неизвестно. Ни теоретических, ни историко-литературных трудов, в которых З. Н. Гиппиус или В. Злобин формулировали бы свои воззрения, за ними не числится. Вся их жажда «свободы» сводится к жажде полемизировать, комбинировать, кого-то с кем-то ссорить. Литературным кругам это, по правде сказать, давно уже ясно. И если зарубежные редакции, расходясь, действительно, чуть ли не во всем, все же сходятся на нежелании предоставить им эту «свободу», то здесь надо видеть явление отрадное: значит — драка ради драки никому не нужна и никого не прельщает.

